

## IN MEMORIAM

Арнос Ритупс

### Главное, чтобы было интересно

5 ноября 2009 года. В Лондоне, в маленькой часовне в гробу лежит тело, обладателем которого более 80 лет был Александр Моисеевич Пятигорский. Лицо напоминает человека, глубоко погрузившегося в размышления. Студенты и младшая дочь читают Bardo-Todol: «Для него пришло время уйти. Свет этого солнца угас. Теперь он один. Он оставил этот мир. Он отправился в другое место. Он входит в густую тьму, он падает в отвесную пропасть, погружается в глубокую тишину. У него нет друга. Нет убежища, нет защитника, нет товарища. В беспредельной пустыне, в огромном океане его обдувает ветер кармы. У него теперь нет своей силы. Пришло время дальше следовать одному, без друзей. О, Будды и Бодхисатвы, окружите его своим состраданием, дайте ему убежище, охраните его. О, Будды и Бодхисатвы десяти направлений, милостивые, всезнающие, всевидящие, прибежище всех чувствующих существ. Придите со своей силой сострадания. Отвратите от него ужас, приносимый Владыкой смерти. Свет этого солнца угас. Для него пришло время уйти. Теперь он один. У него нет никакого друга. Нет убежища, нет защитника, нет товарища. Его обдувает ветер кармы. О, Будды и Бодхисатвы...».

На кладбище дует не только ветер кармы. И друзей собралось много. Больше, чем на его восьмидесятилетии и, как говорят, гораздо больше, чем провожающих его из Москвы, которую он оставил в 1974 году сорокапятилетним, когда «что-то в этом месте закончилось» или, другими словами, когда «все дхармы этого места стали пустыми», или совсем просто — когда ему «смертельно все надоело». И это никак не было связано с гонениями контрразведки, очередным изгнанием с работы, с допросами в связи с арестом его учителя, бурятского дхарма-раджи Бидии Дандарона. Просто было время уезжать. «Когда стол еще накрыт». В последний год, когда стало известно о его отъезде, его провожала «вся Москва». В этом городе у него было невероятное количество друзей и собеседников. От кинорежиссеров до физиков, от скульпторов до лингвистов. Многие его московские коллеги считали, что он своим отъездом ушел от своей «разговорной жизни», чтобы заняться наукой. Однако от своей «разговорной жизни» он никуда не уходил, он жил в разговорах. Никому не понятно, как и за какое время, встречаясь с немислимым количеством интересных людей, ему удалось выучить такое количество восточных языков, написать так много текстов, прочитать так много лекций.

Даже тем, кому он не нравится, было ясно, что это необычный человек. Много лет назад некий нейрофизиолог оригинальность его мыслей объяснял травмами в раннем

детстве и неспособностью ориентироваться в пространстве. Борясь с этими трудностями, ему пришлось выработать свой способ восприятия мира, что должно было проявиться в мышлении, независимом от суждений большинства, в сопротивлении всем готовым идеям, схемам, клише, будь то клише языка, метафизические штампы или готовые «онтологические картинки» — другими словами, всему, что препятствует и останавливает мышление. Конечно, как любая попытка понять причину оригинальности мысли, это только одно из предположений.

Едва ли стоит возражать «умнейшему человеку Великобритании» сэру Исаяе Берлину, считавшему Пятигорского гениальным, потому как не уверен, что его определение что-то объясняет. В то же время ясно, что у Пятигорского было слишком много сторон, чтобы кому-то он был виден целиком. У него была удивительная способность живо входить в интересы своего собеседника, оставаясь при этом самим собой. Поэтому некоторые знали его как повара (обширные познания в традиционных кухнях могли быть для этого поводом), другие как историка или семиотика. Всю свою жизнь он старался встречаться с людьми, которые бы знали то, чего не знал он. Но еще больше его привлекали те, кто способен думать о чем-нибудь так, как он об этом сам никогда не думал. С другой стороны, он был готов говорить с любым, кто задавал ему какой-нибудь вопрос — будь то школьник, таксист, армейский генерал, университетский профессор, бандит, министр или оба последние в одном лице. «Если философу задали вопрос, ему надо отвечать и отвечать искренне. Живым или мертвым».

Примерно за год до своего отъезда Пятигорский вместе со своим другом Мерабом Мамардашвили начал работать над книгой «Символ и сознание». Основу книги составляли их беседы, часть которых были опубликованы уже в 1971 году в Тарту под названием «Три разговора о метатеории сознания (краткое введение в учение виджнянавады)». Хотя Мамардашвили и Пятигорский отдаленно уже были знакомы прежде, их дружба началась со второй половины 60-х, когда Мамардашвили углубился в феноменологию Гуссерля и разрабатывал свою философию, а Пятигорский изучал возникшую в махаянской традиции буддизма V века школу виджнянавады. И в феноменологии, и в виджнянаваде центральное место принадлежало понятию сознание, и именно о нем в первом разговоре за чаем они проговорили до утра. Сознание стало их общим интересом на многие годы, хотя каждый работал над ним исходя из совершенно различных текстов и принципов мышления. Тем не менее их объединяла уверенность,

что сознание (так же как и философия) только одно, независимо от того, появляется ли оно в IV веке до нашей эры в Афинах, в V веке нашей эры в Индии, в XIX веке в Германии или в 60-х годах XX века в Москве. С точки зрения истории западной философии такое положение можно рассматривать как случай Аверроэса (в том смысле, что Мейстер Экхарт тоже может пониматься в контексте авероизма или по крайней мере так, как Леви Стросс и Эрик Фогелин в свое время пробовали рассматривать феноменологию Гуссерля как случай авероизма, называя авероизмом положение о едином Разуме и человеке, способном оказаться в мышлении этого Разума). Однако для них обоих это была просто философия — всегда одна и та же в различных временах, текстах и контекстах.

Мамардашвили иногда называли «единственным свободным человеком в Советском Союзе», «грузинским Сократом», «единственным философом в Москве». Пятигорский всегда отзывался о беседах с ним как о школе свободы мышления. Хотя Мамардашвили был самым близким его другом, он не был единственным собеседником Пятигорского. Похоже, Пятигорского инстинктивно влекло все интересное... — он бы сказал, напряжение или энергия сознания. Как, например, это случилось в 68-м году с перебравшимся из Одессы в Москву Давидом Зильберманом, ставшим еще одним регулярным собеседником и соавтором Пятигорского (до переезда Зильбермана в Бостон в 73-м году, где тот спустя несколько лет погиб в автокатастрофе, оставив более десяти тысяч страниц, из которых только небольшая часть опубликована на русском и английском языках). Их общий в 69-м году доклад о «наблюдательной психологии» после многих лет послужил основой для лекционного курса в Лондонском университете, посвященном феноменологии религии, а еще через много лет превратился в книгу «Мышление и наблюдение. Четыре лекции по обсервационной философии», где уже не было ничего общего с психологией и в которой, как считал Владимир Бибихин, Пятигорский «совершенно голый». Тридцатилетний Зильберман, работая в Ашхабаде метеорологом, не только изучил санскрит и шесть философских систем индуизма, но критически ознакомился с основами и западной философии, чтобы затем, подобно Пятигорскому, включиться в интеллектуальное движение Москвы. В частности, в методологические семинары Георгия Щедровицкого, еще одного друга Пятигорского. Эти семинары, которые начались на квартире Щедровицкого еще в 50-х годах, посещал тогда еще студент философского факультета Мераб Мамардашвили.

Семинары Щедровицкого были посвящены мышлению как особой деятельности и тому, каким образом возникают сложные системы и структуры различных моделей мышления (от футбола до политики, от планировки улиц до хирургической операции). Надо полагать, что именно из разговоров со Щедровицким Пятигорский перенял интерес и привычку (если уже до того у него не было похожих склонностей) рассматривать любое жизненное событие с одной позиции — как если бы в нем уже была дана мысль,

которую можно заметить, распутать и понять. Мамардашвили от семинаров Щедровицкого отказался, поскольку считал философию делом одиночки, а не групповой работы. В свою очередь скорое охлаждение Пятигорского было связано с его неприятием какого-либо догматизма и слишком большого внимания, посвящаемого на семинарах применимости мыслительных моделей. Однако характерное для Щедровицкого отношение к человеку как только случайному и необязательному носителю мышления, наиболее активного и устойчивого элемента мира, у Пятигорского сохранилось на всю жизнь. Так же точно как никакому взгляду, никакой мысли наблюдаемый предмет не дан в полноте, со всех сторон (в этом смысле ни у какого предмета нет «всех сторон»), так же точно и большая часть ошибок мышления появляется из-за неучитывания своей позиции наблюдения изучаемого предмета, откуда он может наблюдаться только с одной определенной стороны.

Может статься, это неоправданное упрощение, однако в каком-то отношении и методология Щедровицкого, и попытка Эвальда Ильенкова понять философию как «науку о мышлении и его закономерностях», и семинары Владимира Библера в середине 60-х годах, и путь Мамардашвили от Маркса и Гегеля к Гуссерлю, и обращение Пятигорского к философии Древней Индии и буддизма — все это можно рассматривать как выражение одного стремления к свободе мышления при внешних обстоятельствах несвободы. Перечитывая статьи Пятигорского о «метафизической ситуации» в Москве 60-х, открывается картина необычайной интеллектуальной интенсивности. Никому не надо доказывать, что в то время в Москве работали выдающиеся физики-теоретики, психологи, лингвисты, филологи мирового уровня. Многие физики были собеседниками Пятигорского, а филологи его коллегами (Владимира Топорова он сам называл иногда своим учителем). Со многими психологами он тесно сотрудничал, участвуя в их семинарах и экспериментах, требующих почти йогических усилий в освобождении мысли от своего предмета, в том числе посредством употребления мескалина и LSD-25 для наблюдения за всеми изменениями работы сознания (только некоторые результаты этих экспериментов были опубликованы). В это же самое время Пятигорский присоединился к еще одному интеллектуальному движению — к изучению знаковых систем (от гадания на картах до поэзии и кино), начатым Юрием Лотманом, который с первой половины 60-х в своих летних школах собирал лучших литературоведов и лингвистов, создавая Тартуско-Московскую школу семиотики, позднее получившую всемирную известность. Именно в 60-х в тетрадях летней школы Тарту Пятигорский публиковался больше всего. Среди его публикаций можно отыскать как описание воздействия мескалина на речевые функции, так и фундаментальные размышления о текстах и мифах (в этих текстах заметно присутствие витгенштейновского «Трактата», хотя содержательную сторону Пятигорский объясняет влиянием Владимира Топорова, что последний, впрочем, категорически отрицает). К этому же периоду относится и упомянутый совместный труд с Ме-

работ Мамардашвили, который, по желанию Мамардашвили, ни в коем случае не должен быть «научным». Как и в случае с семинарами Щедровицкого, постепенно отошел Пятигорский и от семиотики (на что потребовалось более долгое время), но сохранил возникшую дружбу с Лотманом вплоть до его смерти в 1993 году («мы первый раз встретились в 1963 году на вокзальном перроне в Тарту и в тот же миг поняли, что мы старые друзья»).

Хотя среди семиотиков философ Пятигорский воспринимался как чужеродное тело (так же как и среди некоторых философов в качестве чужеродного семиотика), его присутствие среди блестящих российских лингвистов, представлявших ядро Тартуско-Московской школы, было неслучайным. Вскорости после окончания философского факультета он принялся за изучение многих восточных языков (в каком-то смысле это началось уже в средней школе на домашних семинарах бывшего артиллериста Юрия Валентиновича Кнорозова — который позднее расшифровал письменность майя, — где изучался язык и культура Древнего Египта). У одного из первых историков тамильской литературы Пурнама Сома Сундарамы Пятигорский выучил тамильский язык — скорее всего, интерес к тамильскому языку возник из-за сохранившихся на нем почти такого же количества древнеиндийских текстов, как на санскрите, и в 1960-ом году вместе с Семеном Рудиным издал первый русско-тамильский словарь. А уже в 1962-м году вышла в переводе Пятигорского с тамильского книга «Материалы по истории индийской философии. Материализм локаяты, индуистская система шайва-бхакти и другие философские и религиозные системы в средневековых тамильских источниках». До своего изгнания в 1965-м году из Института народов Азии Академии наук СССР (впоследствии Институт Востоковедения) за «антисоветскую деятельность» в связи с арестом будущего профессора Сорбонны Андрея Синявского Пятигорский уже был признанным исследователем культуры, истории, религии и философии Индии. Это обстоятельство, например, как-то раз позволило ему, сидя на столе в позе лотоса, прочесть лекцию по философии йоги в Высшей школе Марксизма-Ленинизма.

Благодаря хорошим отношениям как между СССР и Индией, так и СССР и Цейлоном (Шри-Ланка), в 50-х и 60-х годах в Москве можно было встретить знаменитых ученых с мировым именем. Уже с 1949 года индийским послом в Советском Союзе был назначен прекрасный знаток индийской философии и будущий президент Республики Индия Саврапалли Радхакришнан. Неизвестно, удалось ли Пятигорскому побеседовать с ним, однако известно, что Пятигорский оказался одним из анонимных переводчиков «Индийской философии» Радхакришнана, книга на русском вышла в двух томах в 1956 и 1957 годах. В то время часто приходилось писать свои тексты, чтобы потом их под своим именем публиковало бы руководство научного института, и Пятигорский так поступал многократно, хотя список подобных книг едва ли кому удастся составить. В 1958 году первым послом Цейлона в СССР был назначен

Грунапала Пийасена Малаласекера, ставший впоследствии главным редактором, возможно, лучшей энциклопедии буддизма и бывший частым гостем Института народов Азии, в то время рабочего места Пятигорского. Он же и побудил возобновить заложенную еще в царской России традицию по изучению буддизма. Но наибольшее впечатление на Пятигорского оставил человек, которого он всю жизнь называл своим учителем — пионер тибетологии и монгологии, энциклопедический знаток традиции буддизма Юрий Рерих, сын Николая Рериха, перебравшийся в 1957 году из Индии в Москву. У него Пятигорский не только продолжал изучать санскрит, пали и тибетский, но в первую очередь занимался буддизмом и, как сам признавался, начал понимать буддистскую философию. Именно за эти «три счастливых года» у Пятигорского сформировалось понимание буддизма как определенной жизненной позиции и сознания, а не только как собрания доктринальных текстов и медитативных практик. Такая позиция проистекала из абсолютной индивидуальности каждого сознания и необходимости для каждого сознания стать самодостаточной целостностью (как говорит Будда в сутрах пали — «стань островом»), иначе не остается ничего другого, как быть ходячим гробом, таская измышления других, а непродуманные мысли своего сознания оставляя мертвыми.

В Москве и Ленинграде 60-е годы были временем религиозного возрождения. Представители «творческой интеллигенции» становились практикующими христианами, иудеями и буддистами. В том числе и Пятигорский. Это случилось уже после внезапной смерти Рериха в мае 1960-го года и после запрета на участие в буддистских ритуалах, когда Пятигорский отправился в единственное место поворота колесницы дхармы в Советском Союзе — в Бурятию. Во время этого посещения бурятские ламы дали ему посвящение во множество текстов ваджраяны. С того времени и до конца жизни Пятигорский каждый день начинал с повторения сутр и мантр. Можно сказать, что его день начинался только после таких занятий с текстами, пусть даже иногда его бормотание сопровождалось приготовлением утреннего кофе.

В отличие от серьезной заинтересованности ритуалом (чему посвящен целый ряд работ Пятигорского), традиция ваджраяны не интересуется социальными условиями, что совпадает с отношением к жизни и самого Пятигорского. Точно так же во время пребывания в Бурятии Пятигорский стал следовать традиции никогда не пить водку, прежде не прочитав молитвы для очищения места от плохих мыслей и злых духов («если пьешь без молитвы, определенно случится что-то плохое — или у кого-то на следующий день будет болеть голова, или кого-то бросит женщина...»). Эта молитва, которой никогда не придавалось преувеличенной серьезности, как-то очень органично превращала любой ужин с Пятигорским в легкое пиршество. Способность излучать неиссякаемую радость и веселье у Пятигорского была тесно связана с активным неприятием чувства какой-либо жалости к себе и к сетованиям на свою жизнь. Жалобы, подавленность, уныние, обижен-

ность, зависть — все, что отнимает жизненную радость и препятствует полноценной работе сознания, в его присутствии становились очевидно нелепыми и смешными, подобно застреванию в ловушке собственного сознания. Все жизненные неудобства для него были необходимым дополнительным стимулом мышления — без жизненных трудностей и их неудобства «никто бы вообще ни о чем не думал и все бы превратились в свиней».

В каком-то смысле с той же традицией было связано понимание Пятигорским сексуальной энергии как одной из форм сознания. Ни с кем из его первых трех жен мне не приходилось встречаться, я виделся только с одной из любовниц времени его профессуры, однако некоторые легендарные истории свидетельствуют, что он имел удивительный успех у женщин. Разумеется, об этой бурной стороне его жизни знали только его самые близкие друзья. Но сторона эта была-таки зачастую бурная. Некая английская аристократка долгое время по завершении их отношений носила в сумочке пистолет, дабы при первой возможности его пристрелить. Людмила, жена Пятигорского последних 15-ти лет, их совместную жизнь описывает как время невероятно интенсивного счастья.

Оставив Советский Союз в 1974-м году, Пятигорский хотел отправиться в Лондон, а не в Израиль, «как все порядочные евреи». Лондон он любил не только как город, в котором приятно быть, но в то же время как место, где каждому можно быть чужим — всему и всем. Стремление к отчуждению от своего времени, культуры («я человек никакой культуры») и места объясняется в семинарах последних трех лет жизни в Лондоне по «выработыванию чужого или отчужденного мышления». Это же стремление в последний год было связано и с работой над «не-антропоцентристской философией». В ее границах поле мышления открывается только тому, кто стал чужим даже себе и своей среде, хотя эта среда и старается превратить человека и его обстоятельства в философски маргинальную проблематику.

К чужакам доброжелательного Лондона Пятигорский присоединился благодаря приглашению прочитать несколько лекций в Оксфордском университете (о его приглашении больше всего хлопотала профессор истории религии из Чикагского университета Венди Донигер (Wendy Doniger), до того много раз видевшая Пятигорского в Москве во время своих приездов). Один из выдающихся британских буддологов, долгие годы профессор-санскритолог Оксфордского университета Ричард Гомбрих (Gombrich) из этих лекций запомнил только, что они читались на никому непонятном семиотическом жаргоне и в конце Пятигорский сказал: «Не беспокойтесь, если вы ничего не поняли. Я тоже ничего не понял».

Лекции были одной из тех редких вещей, к которым он относился серьезно и с сознанием долга. После окончания философского факультета в Москве в 1951-м году он четыре года работал учителем истории от 6 до 9 класса в

послевоенном Сталинграде, и учительство это казалось ему единственной его профессией. Не в смысле учителя гуру или ринпоче, но в том простом смысле учителя средней школы, которые должны подчас объяснять простые вещи, но более всего — вызывать интерес к своему предмету. Это возможно только при условии, что тебе самому твой предмет нравится. Чтобы вызвать интерес, годятся любые средства, в том числе и эксцентричный, чтобы не сказать — театральный стиль преподавания Пятигорского. В свою очередь постоянная ссылка во время лекций на «идиотов» напрямую заимствована из педагогической практики буддизма. Слушатели первых его лекций в Риге в 1997 году скорее всего помнят, что конспект лекции по философии буддизма у него был нацарапан на пачке сигарет. Именно потому, что своей педагогической целью он ставил не передачу сведений (это само собой), но возникновение интереса, его лекции всегда в той или иной степени были ситуативны, предназначены именно для этой аудитории (этим качеством отличается и единственная доступная на латышском книга с шестью лекциями по политической философии, прочитанных перед молодежной аудиторией в Москве, которые он никогда не собирался издавать, и их неавторизованная публикация послужила основой для перевода на латышский).

За первые десять лет жизни в Лондоне единственным человеком в Советском Союзе, не побоявшимся связаться с Пятигорским, был Мераб Мамардашвили. Они снова встретились уже в 1986 году в Париже, когда четыре года спустя была издана в Иерусалиме их совместная книга «Символ и сознание. Метафизические размышления о сознании, символическом и языке» с очень подходящим для нее эпиграфом «Авторы — друг другу». Рукопись этой книги в начале 80-х британский философ Эрнест Геллнер после встречи с Мамардашвили нелегально вывез из Советского Союза. В предисловии Лидия Воронина из Бостона, ученица обоих авторов, утверждает, что эту книгу понять невозможно — ее можно лишь по-разному не понять. В предисловии ко второму изданию 1997 года Пятигорский пишет, что в книге недостает одного постулата — «мы (авторы книги) не можем (не хотим) думать о сознании как о чем-то другом, а не о сознании, но мы можем думать о чем угодно как о сознании».

После почти тридцатилетней работы профессором восточно-азиатской истории в школе Восточных и африканских исследований Лондонского университета способность встречаться с необычными людьми у Пятигорского отнюдь не уменьшилась. Совсем наоборот. Очень скоро возникла дружба с Исайей Берлином и Эрнестом Геллнером (Gellner), так же быстро он познакомился с прекрасным историком западной философии Фредериком Коплстоном (Copleston), Энгусом Чарльзом Грехемом (Graham), выдающийся знаток классической китайской философии, был в то время его коллегой и многие годы частым собеседником, с Дэвидом Сейфортом Руегом (Ruegg), одним из ведущих мировых специалистов по школам мадхьямики и тибетского буддизма, встречался он регулярно. Не-

сколько лет назад Руег о Пятигорском говорил: «Он очень оригинальный философ и потому неизбежно маргинал и одиночка». Это только наиболее известные его лондонские собеседники, о разнообразии же всех прочих можно судить из его бесконечных рассказов о казалось бы невероятных встречах и беседах. «Казалось бы» потому, что в рассказах Пятигорского никогда нельзя отделить действительно случившееся от того, что он выдумал сам. А «невероятных» по той причине, что большинство едва ли имело представление, что беседа вообще может оказаться настолько интересной.

В 1984 году в Лондоне вышла книга Пятигорского «Мысль в философии буддизма», посвященная Абхидхарме (или Абидамме на пали), разрабатывавшей классификации мышления, и почти такая же сложная, как и ее предмет. Понимание этой книги еще больше затрудняет ряд применяемых в ней понятий из области семиотики. Пятью годами позже сам Пятигорский эту свою книгу охарактеризовал как «непростительно дилетантски и фрагментарно написанную», но притом не отрицал наличие в ней и некоторых интересных мыслей. Книгу оценили те буддологи, которых интересовала философия (известный исследователь философии буддизма Пол Вильямс (Williams), невзирая на жалобы из-за непонимания, рекомендовал прочесть книгу по крайней мере дважды), остальные скорее всего ее просто не поняли. Представить, что кто-то из философов западного университета мог бы заинтересоваться пониманием мышления в раннем буддизме, было бы наивно. Такая наивность, похоже, соответствует мнению Пятигорского о свойственной XX веку «невероятной вульгаризации философии».

Есть люди, которые вышедшую в 1993 году книгу «Мифологические размышления. Лекции о феноменологии мифа» считают самой дельной в XX веке книге о мифологии. Есть и такие, кто его книгу 1995 года «Кто боится масонов?» не только считает лучшим исследованием, когда-либо написанным о масонах, но также одной из выдающихся книг о религиозной традиции вообще. В первой можно видеть, насколько Пятигорский отошел от своих ранних семиотических попыток осмыслить мифологию как особого рода текст и насколько плодотворно можно рассматривать мифологию как феномен сознания. Во второй представлен его исторический метод в чистом виде, хотя в «чистом виде» не надо понимать буквально — здесь интерес к выдуманной масонами своей истории и ритуалам следует за желанием понять, как и что думали создатели движения свободных каменщиков.

Параллельно историческим исследованиям о происхождении масонства Пятигорский работал над своим вторым романом «Вспомнишь странного человека», посвященным Михаилу Терещенко — масону, одному из богатейших заводчиков царской России, министру финансов и иностранных дел Временного правительства, вскоре после большевистского переворота освобожденного из-под ареста и затем явившегося в Англию без гроша

в кармане и вскорости ставшего богатейшим человеком Великобритании. Однако история не о деньгах, но о необычной жизни сознания человека и о возможности эту жизнь воспроизвести. За этот роман Пятигорский в 2000 году получил премию Андрея Белого, хотя едва ли это последнее обстоятельство это имеет какое-нибудь значения.

К концу жизни Пятигорский становился похожим, по мнению многих, на греко-армянского мистика Георгия Гурджиева, которого сам Пятигорский никогда не встречал, но интерес к которому у него появился в ранней молодости и продолжался в Лондоне, где не было недостатка ни в учениках Гурджиева, ни в людях, знавших того лично. Феномен Гурджиева трудно понять и еще труднее описать, но его жизнь и отношение к жизни несомненно составляли один из горизонтов мышления Пятигорского (как постоянно удаляется горизонт, не имея своего места, так и предмет размышления постоянно пребывает в движении мысли). Некоторые линии этого горизонта составляли содержательный скелет первого и самого гурджиевского романа «Философия одного переулка» (роман первый раз вышел в 1989 году в Лондоне в русском издательстве, поддерживаемом на средства Центрального разведывательного управления).

После прочтения этого романа весной 1995 года я понял совершенно ясно, что хочу познакомиться с автором этой книги. Наш первый разговор состоялся уже в августе, в его университетском кабинете. Меня не покидало чувство, что в каком-то смысле этот разговор еще не кончился, хотя я никогда больше и не услышу его голоса. Возможно, мое желание последних лет встречаться с живущими сегодня философами было просто желанием преуменьшить то влияние, которое Пятигорский оказывал на меня, чтобы удостовериться, что философ он не единственный. И он в действительности не единственный. У двоих из на сей момент встреченных мною философов — я имею в виду Стенли Кавела и Дитера Генриха, — я заметил аналогичную мышлению Пятигорского интенсивность и насыщенность мыслей, пусть иначе сформулированных, нежели в книгах и в лучших беседах Пятигорского, в которых мне посчастливилось участвовать, однако ни у одного из них я не видел такого страстного влечения к философии и такую невероятную открытость, широту и свободу мысли. И свободу эту надо понимать не только как независимость от изобретенной другими привычной и популярной мысли, но как пространство для возникновения непредсказуемых вопросов, в котором может случиться что-то интересное. «Интересно все, что может изменить прежнее мышление», — примерно так пояснил один из своих принципов Пятигорский в изданной в Риге в 2002 году книге «Мышление и наблюдение», где на момент ее выхода двое из тех, кто мог бы эту книгу понять (я говорю о Зильбермане и Мамардашвили), уже умерли, тогда как другие, возможно, еще не родились. Сравнения ради стоит вспомнить, что написав свой «Трактат», Витгенштейн полагал, что его могут понять только два

человека (Фреге и Рассел), но как оказалось, не поняли даже и они. Книга «Мышление и наблюдение» знаменовала для Пятигорского смену области интересов — его главной философской темой стало мышление, а не сознание, исследуемое теперь только в связи с мышлением. Пятигорский, который всегда подчеркивал, что его философия предназначена для него самого и его друзей, никогда не старался быть понятным (понимать дело читателя и слушателя, а не автора или лектора). Усилия быть понятным, на его взгляд, ослабляют внимание к своему предмету мышления. В то же время я не знаю никого, кто бы с такой охотой выслушивал критику своей философии (философ, которому не нравится, что его критикуют — это дерьмо, а не философ), однако чтобы критиковать, надо было понимать, а понимать всегда было и есть трудно. «Философу не надо быть самоуверенным, быть самоуверенным нужно для актера. Философ, которому верят, это не философ, а актер на идеологической сцене».

Пятигорский ни в коем случае не был и не хотел быть академическим философом, если под этим понимать ремесленника, работающего в сфере мышления и проблематики других. Еще менее хотел он быть специалистом в какой-нибудь области философии (хотя это несомненно была древнеиндийская и буддистская философия), и совсем мало его интересовало филологическое отношение к какому-либо из канонизированных философов — все равно, будь это Куайн или Хабермас, Гуссерль, Ницше или Гегель. Хотя в молодости он очень внимательно читал Витгенштейна и в конце жизни несколько раз обращался к текстам Хайдеггера, говоря о XX веке, он чаще упоминал таких забытых философов как Жан Гебсер (Jean Gebser) и Чарли Брод (Broad), а Гуссерля считал принадлежащим XIX веку. Как-то на мой вопрос, кто из живущих философов для него самый интересный, Пятигорский без промедления ответил — Шанкара (который, кажется, жил в начале IX века). При необходимости Пятигорского можно считать и «религиозным философом», однако религиозный фон его философии составляет ваджраяна, а не какая-либо из религий монотеизма.

Его философия живет в нескольких трудно понимаемых книгах, во множестве легче понимаемых лекций и семинарах, но всего более — в никогда не прекращающихся беседах с друзьями. Этот последний вид философии по крайней мере внешне можно считать сократической стороной его мышления, хотя в отличие от выдуманного Платоном Сократа, за некоторыми исключениями беседовавшего с полными идиотами, Пятигорский искал собеседников в людях со стремлением мыслить. Может быть, стоит вспомнить, как, следуя Гурджиеву, он считал переход от объективного идиотизма (когда человек не знает, что он идиот) к субъективному идиотизму (когда человек знает, что он идиот) чрезвычайно важным событием в сознательной жизни человека. «Объективного идиота» надо понимать как нормального, недумającego человека, каких «по подсчетам одного моего друга в точности 92,5% от всех жителей мира».

Постулат «трансцендентального единства философа и его философии» был одним из самых сложных в рассуждениях Пятигорского. Возможно, кому-нибудь когда-то удастся содержательно переформулировать и принести в дар широким народным массам внятную философию Пятигорского, которая никогда не была системой идей и аргументов, а была главным образом способом жить и мыслить. Философия для него была постоянным стремлением и страстью к жизни и даже более чем к жизни — к собственному мышлению, «мышлением о самом мышлении, о чем бы ты в этот момент ни думал». Идеи при этом возникают только как остатки и побочный продукт философского стремления — в виде содержательно готовых мыслей, способных как помочь, так и повредить мышлению (и Пятигорский хорошо знал, в какой степени эти готовые идеи могут останавливать мышление). Если при этом появляются аргументы, то совсем на периферии, и кто хочет, может там свои идеи пояснять, обосновывать или в худшем случае кого-то в них убеждать. Понятность высказываний, истинность заключений, всеобщность положений — все это оказывается вторичным. Главное, чтобы было интересно, чтобы продолжалось мышление, не прекращалась беседа.

В беседе с ним меня всегда поражала не его феноменальная память, энциклопедические познания в самых немислимых вещах, неповторимый талант рассказчика или его трансцендентальная несерьезность («Как сказал бы Кришна, все смешно. Не так ли?» — такими словами он начал беседу при нашей второй встрече после только что им прочитанной лекции), а что-то совершенно другое. Говоря о философии, а говорить ему нравилось о вещах самых разнообразных, возникало впечатление, что о каждом предмете он уже думал несчетным количеством способов (в этом отношении его было очень трудно удивить) и более всего стремился отыскать тот способ мышления, каким об этом предмете еще никто не думал. Иначе будет не интересно.

Одна из моих наибольших жизненных удач была возможность говорить с Александром Пятигорским. Я его очень любил. Я думаю, что он прожил исключительно интересную и поэтому — счастливую жизнь. Он жил и думал, как хотел. Даже умер как хотел — полный сил, при полном сознании. «Уходить надо, когда стол еще накрыт». Вскоре после своего 80-летнего дня рождения Пятигорский некоторым своим друзьям говорил, что скоро умрет. В последний год он много раз пытался об этом говорить со своей женой Людмилой, но ею это было воспринято как шутка и никакого разговора не вышло. Свой последний день в жизни он провел как обычно — думал, сделал несколько заметок, продолжал изучать грамматику тибетского языка, читал. Последней книгой, которую он читал уже который раз, был «Степной волк» Гессе, а последние слова, которые слышала его жена, были: «Родная, выключи свет»...

**Перевод с латышского А. Романова**